

Империя Петра Великого: курс — вест, ветер встречный

Дмитрий Редин

Empire of Peter the Great: course — west, headwind

Dmitry Redin

(Institute of History and Archeology, Ural Branch,
Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg)

DOI: 10.31857/S086956870016252-8

В этом году исполняется 300 лет с того времени, как Пётр I принял императорский титул, а Россия официально стала империей¹. В научной литературе это событие справедливо связывают с другим, произошедшим в том же 1721 г.: подписанием Ништадтского мирного договора между Россией и побеждённой Швецией. Мир, подведший итог почти четвертьвековой войны Российского государства с одной из сильнейших держав Европы и кардинально изменивший баланс сил на севере субконтинента, олицетворял для современников в Санкт-Петербурге, и прежде всего для самого новоиспечённого императора, не только их военное превосходство, но, что гораздо важнее, правильность выбранного курса осуществлённых за эти годы реформ. В короткой, но прочувствованной речи канцлера гр. Г.И. Головкина, произнесённой 22 октября 1721 г. в кафедральном Свято-Троицком соборе, эта мысль была ясно выражена уже в первой строке: все достижения находящейся на пике успеха страны стали возможны благодаря славным и мужественным «воинским и *политическим* (здесь и далее курсив мой. — Д.Р.) делам» монарха².

И об этих событиях, и в целом о Российской империи (и не только петровского времени) написано так много самой разнообразной литературы, что любое новое сочинение на эту тему крайне рискованно хотя бы потому, что заведомо обречено на повторы: «эффект колеи», бесспорно, грозит в этом случае любому автору. Есть и другие риски: быть обвинённым в поверхностности суждений и банальности, в односторонности оценок, в предвзятости по отношению к императору и его деяниям, которые по давней инерции неизменно предстают в дихотомии «*pro et contra*», и во множестве других грехов. Понимая это, я тем не менее счёл возможным высказать некоторые соображения на тему «империи, которую построил Пётр», облакая их в жанр эссе и осознавая все возможные преимущества и ограничения, которые налагает этот жанр.

© 2021 г. Д.А. Редин

¹ Известно, что международное признание этого факта шло очень долго, и если Пруссия, Соёдиненные Провинции, Дания и Швеция признали притязания России и её монарха почти сразу, то католические державы (Священная Римская империя, Франция, Испания, Речь Посполитая) и Англия долгое время отказывали России в этом. Можно согласиться с Д. Ливеном, считающим, что окончательное и полное утверждение страны в имперском статусе произошло лишь по итогам Семилетней войны (Ливен Д. Российская империя и её враги с XVI века до наших дней. М., 2007. С. 60).

² ПСЗ-I. Т. 6. № 3840.

Уже сами обстоятельства принятия Петром I императорского титула при их, казалось бы, предельной ясности дают повод для размышлений и разноплановой дискуссии. Один из вопросов, вызывающий давние споры, связан с оценкой западнической перспективы, которую царь выбрал в качестве вектора развития возглавляемой им страны. Провозглашение России империей в этом отношении выглядит одним из символических проявлений данного вектора, поскольку российский монарх принял титул, венчавший иерархию именно европейских христианских государей.

Но ни сам западный выбор, ни представления о своей державе как империи не являлись изобретением Петра. Не стану углубляться в толщу веков, приводя доказательства того, что имперская идея, имперское сознание, вероятно, были присущи русской политической элите с ранних веков существования Руси/России как государства³. Они имели различные корни и по-разному акцентировались в зависимости от исторической ситуации, мировоззренческих установок, культурных пристрастий и политических целесообразностей, но как кажется, не исчезали никогда, лишь глубоко скрываясь в наиболее тяжёлые годы так называемого монгольского, или ордынского, периода русской истории. Идеино питаюсь религиозными доктринами и, в известной мере, апеллируя к византийскому наследию⁴, имперские притязания российской власти стали приобретать вполне реальные основания и рационально-политические оттенки в последние десятилетия XV в. В этой связи уместно вспомнить хрестоматийный ныне ответ великого князя Московского и всея Руси Ивана III имперскому посланнику Н. Поппелю, предложившему русскому монарху содействие в получении королевской короны из рук императора Священной Римской империи Фридриха III: «Мы Божию милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, и поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы; просим Бога, чтоб нам и детям нашим всегда дал так быть, как мы теперь государи на своей земле, а поставления как прежде мы не хотели ни от кого, так и теперь не хотим»⁵. В этой фразе в первую очередь сделан акцент на абсолютную суверенность власти московского государя, первого из череды предков добившегося её в результате войны 1480 г. с ханом Большой Орды Ахматом. Это представление по умолчанию предполагало, что никто из европейских монархов, кроме императора, не обладает подлинной политической самостоя-

³ О бытовании этой идеи в Древней Руси и о реализации «имперского идеологического оснащения» в вербальных и невербальных формах на рубеже X—XI вв. и позже см.: *Назаренко А.В.* Была ли столица в Древней Руси? Некоторые сравнительно-исторические и терминологические наблюдения // *Назаренко А.В.* Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2007. С. 103—113.

⁴ Я осторожно отношусь к этому словосочетанию. У России было гораздо меньше общего с империей ромеев, чем принято считать. Московские книжники черпали вдохновение в образах «Греческого царства», бесспорна догматическая и литургическая связь Константинопольской и Московской церквей. Но на институциональном уровне Россия ничего или почти ничего не могла позаимствовать у Византии. О преемственности между Византией и Россией см.: *Козлов А.С.* Европейский миф о Византии и вопрос о византийско-русском континуитете (историософский этюд) // *Imagines mundi.* Альманах исследований всеобщей истории XVI—XX вв. № 8. Сер. Альбионика. Вып. 4. Екатеринбург, 2011. С. 50—60; *Козлов А.С.* Ещё раз о византийско-российском континуитете: социальный аспект // *Проблемы истории России.* Вып. 9. Россия и Запад в переходную эпоху от Средневековья к Новому времени. Екатеринбург, 2011. С. 65—84.

⁵ Памятники дипломатических сношений России с державами иностранными. Т. I. СПб., 1851. С. 10—11.

тельностью, поскольку они «имеют поставление» от вышестоящего монарха. Для Ивана III источники его легитимности — Бог и наследственная давность обладания «своей землею»; его ровня — император.

Эта первая, плохо завуалированная, но ещё доктринально не артикулированная претензия великих князей Московских на императорский статус стала одним из важнейших мотивов их дальнейшего позиционирования на международной арене. Светские мотивы обоснования этой претензии со временем лишь усиливались. Итак, имперскость в представлении русских монархов позднего Средневековья — это высший суверенитет. Но одновременно с этим — это и обладание властью над многими государствами. Переход под скипетр Ивана IV Казанского, Астраханского и Сибирского ханств («царств»-империй в русском политическом прочтении того времени) — события, которые должны были развеять последние сомнения в правомочности претензий московских Рюриковичей на императорское достоинство. Но и в более ранние времена, согласно московскому официозу, они уже были государями над государями, как и положено императорам, став обладателями некогда самостоятельных русских областей, таких как Новгород, Псков или Рязань. Не случайно именно на рубеже XV и XVI вв. начала формироваться сложная формула титулования государей всея Руси, скрупулезно фиксирувавшая все их территориальные приобретения; в то же время активизировалось стремление московских монархов присвоить себе официальное именование «царь», однозначно воспринимавшееся в России как императорский титул.

Важно подчеркнуть, что эти амбиции выстраивались исключительно в западной, европейской системе координат. При всей сложности определения «европейскости» для того исторического периода, важнейшими её критериями для современников оставались принадлежность к христианству и общность государственной традиции, восходящей, так или иначе, к Риму. Рубеж Средневековья и Нового времени подверг эти критерии серьёзным испытаниям, связанным как с Реформацией, потрясшей конфессиональное единство Запада, так и с процессами формирования национальных государств. Но русские монархи в Москве, отделённые от своих западных *vis-à-vis* ещё более давним конфессиональным расколом, тем не менее относили себя именно к христианской/европейской семье. Евразийские рассуждения о великих князьях Московских как наследниках монгольской или золотоордынской империй⁶ не имеют под собой ничего, кроме позднейших умозрительных спекуляций. Если Россия и была «главной наследницей монгольской орды», то лишь по территориальному признаку⁷. Иван IV, покоритель Казанского и Астраханского *царств*, и его окружение рассматривали переход этих стран под скипетр русского государя не как *восприемство* власти ордынских царей, а как *покорение* неверных царств христианскому царю. Совершенно недвусмысленно эта трактовка была официально сформулирована и донесена западным соседям по дипломатическим каналам. В одном из наказов 1553 г., данном гонцу в Литву Н. Сущёву, последнему следовало сообщить панам-раде о покорении Казани так: «Которой

⁶ Трубецкой Н.С. О Туранском элементе в русской культуре // Евразийский временник. Кн. 4. Берлин, 1925. С. 92—106; Никитин В.П. Иран, Туран и Россия // Евразийский временник. Кн. 5. Париж, 1927. С. 75—120; Савицкий П.Н. Степь и оседлость // Россия между Европой и Азией: Европейский соблазн. М., 1993. С. 123—130.

⁷ Ливен Д. Российская империя... С. 225.

бусурманской род из Казани ото многих лет христианскую кровь проливал и государю нашему до его возрасту многую досаду делал, и тот бусурманский род Казанской, Божиею милостию, государя нашего саблех померли, и на Казани ныне государь наш своих наместников и воевод учинил, *и православною верою христианскою место то бусурманское обновил...* И мы о том Богу хвалу воздаем, дай Боже нам и вперед видети, чтоб и иным бусурманским родом христианская кровь отомстилась»⁸.

То, что московская политическая и интеллектуальная элита видела себя включённой в европейский/христианский универсум, убедительно доказывается фактом формирования в её среде в первой четверти XVI в. концепции, генеалогически возводящей правящую династию к первому римскому императору Октавиану Августу. Хорошо известное историкам и филологам «Сказание о князьях Владимирских», появившееся во вполне конкретных исторических условиях соперничества московских династов с польско-литовскими государями за «древнерусское наследство»⁹, совершенно недвусмысленно подчёркивало происхождение первых от римского императорского рода через мифическое родство легендарного Пруса, якобы предка Рюрика, с «Августом-кесарем». Важно подчеркнуть, что «Сказание» давало идеологическое обоснование претензий русских монархов на императорский титул, апеллируя к тому, что он принадлежал им исстари, доставшись по наследству от самых первых императоров, от которых выводили своё преемство и единственные императоры западного христианского мира. Включённая в «Сказание» легенда о Константиновом даре — наследственном приобретении царских/императорских регалий Константина Великого князем Владимиром Мономахом — не столько, в данном случае, носит самостоятельный характер, сколько подчёркивает непрерывность имперской власти русских государей и, конечно, привносит в эту историю религиозный смысл, акцентируя внимание на благочестии московских Рюриковичей.

Стоит, на мой взгляд, напомнить, что именно «Сказание о князьях Владимирских» стало носить доктринальный характер при московском дворе, оказавшись востребованным и продуктивным на несколько веков вперед. Войдя в состав официальных летописных сводов XVI в. (Воскресенскую и Никоновскую летописи), оно устойчиво транслировалось и в других официальных текстах XVI—XVII вв.: Царственной книге, Государевом родословце, Степенной книге, использовавшихся в дипломатической практике Русского государства и не потерявших актуальность в первой четверти XVIII в., при формировании новых европейски ориентированных политических конструкций¹⁰. Полагаю, что

⁸ Сборник императорского русского исторического общества. Т. 59. СПб., 1887. С. 372. Свою христианскую (европейскую) идентичность и противопоставление мусульманскому Востоку московская дипломатия формулировала столь же однозначно и раньше, например, во время переговоров с имперским послом Франческо да Колло летом 1518 г. (*Синицина Н.В.* Два мира: возможность взаимопонимания // *Россия в первой половине XVI в.: Взгляд из Европы.* М., 1997. С. 35—37).

⁹ *Мыльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI — начала XVIII века. СПб., 2000. С. 213—216.

¹⁰ *Дмитриева Р.П.* Сказание о князьях Владимирских. М.; Л., 1955; *Дмитриева Р.П.* К истории о великих князьях Владимирских // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом) (далее — ТОДРЛ). Т. XVII. М.; Л., 1961; *Дмитриева Р.П.* Сказание о князьях Владимирских // *Словарь книжников и книжности Древней Руси.* Вып. 2 (вторая половина XIV — XVI в.). Ч. 2. Л.—Я. Л., 1989; *Гольдберг А.Л.* К истории рассказа о потомках Августа и о дарах Мономаха // ТОДРЛ. Т. XXX. Л., 1976; *Зимин А.А.* Трудные вопросы методики источниковедения Древней Руси // *Источниковедение: теоретические и методологические про-*

именно светский потенциал, содержащийся в «Сказании», обеспечил ему столь долгую жизнь и востребованность, в отличие от воззрений в духе «Москва — Третий Рим» или «Россия — Новый Израиль», которые были сосредоточены исключительно на религиозной, эсхатологической трактовке судьбы Российского царства и, строго говоря, никогда не имели официально-доктринального политического характера¹¹. Светская составляющая (происхождение власти от первых, дохристианских римских кесарей) позволяла смягчать напряжённость, порождённую конфессиональными различиями России и Запада, слишком вопиюще очевидными и не решаемыми в рамках догматических дебатов; переносить смысловой акцент на общность источника власти, общность исторической судьбы Востока и Запада Европы. Этот потенциал, похоже, хорошо понимал и пытался развить Пётр I. Д.О. Серов, анализирувавший редакторскую работу Ивана Юрьева над «Извещением о житии и действиях... великих князей российских», основанным на Степенной книге в 1716—1718 гг., заметил, насколько последовательно и масштабно, «как неприличные излишества», из новой компиляции устранялись фрагменты, сообщавшие о влиянии церковных иерархов на деятельность великих князей¹². Такая направленность редактуры отражала не только хорошо известное стремление Петра I лишить церковную иерархию политической власти, но и намерение минимизировать в политическом контексте конфессиональные различия между православной Россией и католическим и протестантским Западом. Пётр больше не строил уникальное «священное царство». Он вводил свою державу в общий круг христианских народов.

Осознание своей включённости в христианский мир Европы и стремление добиться признания этого факта со стороны западного мира имело принципиальное значение и для предшественников Петра Великого. Злополучное «кайзер и государь всех русских», употреблённое императором Максимилианом I всего один раз в обращении к Василию III в тексте договора 1514 г., стало в глазах московской дипломатии актом международного признания императорского титула за русскими государями и не было убедительно дезавуировано ни хитроумными построениями Сигизмунда Герберштейна, пытавшегося доказать, что «кайзер» Максимилианова текста есть обозначение лишь королевского достоинства, ни последующими доводами европейцев¹³. Исключительная важность этого прецедента, имевшего для русских элит едва ли не юридическое значение, подчёркивалась и в уже упоминавшейся речи канцлера Головкина на поднесение Петру I императорского титула: «Титул императорский Вашего

блемы. М., 1969; Зимин А.А. Основные проблемы реформационно-гуманистического движения в России XIV—XVI вв. // История, фольклор, искусство славянских народов. М., 1963; Зимин А.А. Античные мотивы в русской публицистике конца XV в. // Феодалная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972; Сиренов А.В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI—XVIII вв. М.; СПб., 2010; Юрьев И.Ю. Известие о житии и действиях державствующих великих князей российских. М., 2013.

¹¹ Perrie M. Moscow in 1666; New Jerusalem, Third Rome, Third Apostase // Quaestio Rossica. 2014. № 3. С. 75—85. Даже их концептуализация есть, скорее, плод позднейшего переосмысления, чем результат интеллектуальной работы современников (Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 14—16).

¹² Юрьев И.Ю. Известие о житии и действиях... С. 72—90.

¹³ Возможность двоякого толкования титула «царь» (и как императорского, и как королевского) в культурных и семиотических интерпретациях международной практики того времени подробно раскрыта Б.А. Успенским (Успенский Б.А. Помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000).

величества достохвальным антецессорам *от славнейшего императора Римского Максимилиана от неколиких сот лет уже приложен*, и ныне от многих potentatov дается»¹⁴. Поэтому едва ли можно считать справедливым утверждение о том, что текст провозглашения русского царя императором не упоминал исторических прецедентов, как это делается в новейшей биографии Петра¹⁵. Равным образом обращение к речи Головкина не подтверждает и другого тезиса: важности для петровской пропаганды фигуры Ивана IV как первого русского монарха, венчанного царским титулом. Царское венчание Ивана Грозного и для его собственного окружения, видимо, в первую очередь являлось актом внутренней направленности¹⁶. Что уж говорить о петровских конфидентах! В их представлениях первым в череде «достохвальных антецессоров» был Василий III; символическая роль, отводимая Ивану IV, судя по всему, в петровской имперской пропаганде оставалась минимальной¹⁷.

Если венчание Ивана IV царским венцом было актом внутривластной направленности, то принятие Петром I императорского титула адресовалось вовне. И сам Пётр, и его приближённые несколько не сомневались в легитимности такого шага, и акт 1721 г. лишь констатировал, что отныне между западной и русской политическими традициями снималась «проблема перевода»¹⁸.

Таким образом, для русской элитарной политической мысли, государственной идеологии позиционирование российских монархов как исконных и при этом ведущих членов европейской семьи христианских государей являлось вполне укоренившимся явлением, лишь набиравшим силу в перспективе XVI—XVII вв., а западный вектор внешней политики не был случайным. Осознание себя частью общеевропейского/христианского мира носило в России того времени очень своеобразный характер, обусловленный сильнейшим влиянием Русской Православной Церкви. Латинский, а позже и протестантский Запад в глазах московских иерархов, как известно, являлся отклонением от истинной веры, что имело и политическую проекцию: культивирование гипертрофированных представлений об уникальной миссии православного царя, гаранта торжества единственно подлинной христианской Церкви. Но при всём этом московские монархи всё-таки искали своё символическое и реальное место не среди восточных, азиатских правителей, а, повторюсь, среди европейских соседей.

Это стремление к поиску своего места в общехристианской/европейской системе, набиравшее со временем всё более отчётливый характер, как известно, не находило встречного движения. Нежелание видеть в России «своего», негативный образ страны и народа, сформировавшийся в восприятии Запада, — вещи, хорошо известные, чтобы писать о них пространно¹⁹. Хотелось бы обратить внимание лишь на два обстоятельства, которые, как представляется, лежали в основе этих «неузнаваемости» и неприятия. Во-первых, попытки Рос-

¹⁴ ПСЗ-I. Т. 6. № 3840.

¹⁵ *Liechtenhan F.-D.* Pierre le Grand: Le premier empereur de toutes les Russies. P., 2015. P. 493.

¹⁶ *Скрынников Р.Г.* Царство террора. СПб., 1992. С. 91—92; *Хорошкевич А.Л.* Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 62—66, 73—75.

¹⁷ *Филюшкин А.И.* Изобретая первую войну России и Европы: Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков. СПб., 2013. С. 235—247.

¹⁸ О дальнейшем сосуществовании в русском политическом лексиконе терминов «император» и «царь» см.: *Успенский Б.А.* Помазание на царство... С. 48—52.

¹⁹ См., например: *Филюшкин А.И.* Изобретая первую войну...

сии войти в европейскую политику грозили разрушить сложившийся в Европе баланс сил. Пока речь шла о действиях московских монархов на периферии интересов ведущих участников: войнах с Великим княжеством Литовским за доминирование на территориях бывших русских средневековых княжеств, никаких угроз упомянутому балансу они не несли, и московские претензии мало кого беспокоили. Совершенно по-другому ситуация стала выглядеть, когда устремления Москвы вступили в противоречия с интересами Польской короны и тем более вышли на Балтику — один из узловых регионов Европы, в которых сложностей хватало и без нового игрока.

По понятным причинам наиболее болезненная реакция на западную активность Великого княжества Московского проявилась в Польше/Польско-Литовском государстве²⁰. И именно там стал формироваться антимосковский/антирусский дискурс, транслируемый в западно-христианское культурное и политическое пространство. Речь шла о создании неевропейского, варварского, агрессивного образа Московии, в том числе средствами, если можно так сказать, ментальной географии: восточному соседу отказывали даже в пространственно-территориальном размещении в Европе²¹. Иначе обстояло дело со странами, не имевшими общих границ с Россией и/или чьи интересы, до поры, не входили в конфликт с интересами московского двора. Там отторжение России оформилось не сразу и, судя по нарративу и некоторым дипломатическим документам эпохи, до поры до времени существовали намерения каким-то образом интегрировать эту, в сущности, плохо известную и мало понятную, но тем не менее христианскую державу в общеевропейский контекст. Основания для таких намерений были разными. Ватикан никогда не оставлял надежд на «возвращение» восточных христиан в лоно католической церкви; Габсбурги видели в московских государях (в определённый момент) противовес усилению влияния Ягеллонов в Центральной Европе, что находило отклик (но не нашло перспективы из-за колебаний конъюнктуры) в Кремле; Венгрия при Матвее Корвине и те же Габсбурги в конце XV в. и позднее уповали на военное могущество московитов (впрочем, сильно преувеличенное) в противодействии турецкой угрозе²²; наконец, возможно учитывать и некоторое влияние исторической памяти о династическом родстве, как в случае с французским королевским домом Валуа²³, смягчавшей отношение к московитам. Исходя из разных соображений, Москве готовы были «простить» её инаковость, «неправильную» веру и прочие странности. Во всяком случае, до обострения обстановки вокруг Ливонии, мы можем обнаружить западные источники, в которых отзывы о России и русских вполне нейтральные и даже доброжелательные²⁴. Но когда,

²⁰ Среди первых авторов такого рода в начале XVI в. были Ян из Глогова и Бернар Ваповский (*Klug E. Das «asiatische» Russland. Über die Entstehung eines europäischen Vorurteils // Historische Zeitschrift. 1987. № 245. S. 273—275*).

²¹ Это было, по образному определению А.И. Филюшкина, «вытеснение» или даже «изгнание» России за пределы Европы с помощью картографирования и ментальной географии (*Филюшкин А.И. Изобретая первую войну... С. 310*).

²² *Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV — начала XVI в. М., 1980.*

²³ *Дюро Э., Шварц И., Шишкин В. В поисках союзников: послание Генриха II Валуа Ивану IV Васильевичу // Quaestio Rossica. 2019. Т. 7. № 3. С. 871—878.*

²⁴ *Контарини А. Рассказ о путешествии в Москву в 1476—1477 // Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 17—29; Кампенский А. О Московии; Фабри И. Религия московитов,*

в конечном итоге, стали очевидными, с одной стороны, бесперспективность прозелитских устремлений Рима и попыток вовлечь Россию в антитурецкий союз, а с другой — особые, плохо вписывавшиеся в традиционные западные альянсы, российские интересы в Северной и Восточной Европе, за этой страной и её народом окончательно закрепились дурная репутация.

Во-вторых, упомянутому отторжению России способствовали и те глубокие изменения, которые стали происходить в самой «*res publica christiana*» на исходе Средневековья. Раскол конфессионального единства Запада, обусловленный Реформацией, с одной стороны, и выход на новый уровень урбанизации и связанные с этим достижения культуры и образования, подразумевающие широкий круг перемен (от мировоззренческих до бытовых), в духе ренессансного гуманизма, — с другой, стимулировали поиск новой модели европейской идентичности. В этой связи, по мере перехода в нововременное интеллектуальное и моральное пространство, принадлежность к христианству сама по себе уже не являлась достаточным идентификационным признаком. На первое место выходили другие маркеры, такие как просвещённость, утончённость нравов, стремление к новизне (по сути, то, что можно назвать осознанным стремлением к прогрессу)²⁵ и т.п. Разумеется, Россия, не знавшая ни Ренессанса, ни гуманистической революции, и нравы которой считались ущербными, не являлась в этом случае частью Европы.

Итак, неудачи с использованием России в качестве «младшего партнёра» в общехристианском противостоянии с османами или в качестве управляемого союзника тех или иных европейских стран в борьбе за гегемонию в Центральной и Восточной Европе, её неконтролируемая внешнеполитическая активность на западном направлении, а также усугубившийся и ставший слишком очевидным цивилизационный разрыв России и остальных европейских стран²⁶, стали основой для формирования устойчивого негативного образа Московии как варварской, тиранической, опасной и чуждой для европейских государств страны.

Сколько в основе подобных представлений лежало реальных фактов, а сколько домыслов и пропагандистски мотивированных оценок, является темой отдельного исследования. Антропологически ориентированные работы по истории стран Западной Европы раннего Нового времени показывают, насколько сами эти страны зачастую не соответствовали тому идеально-типо-

[обитающих] у Ледовитого моря; *Йовий П.* Книга о московитском посольстве // Россия в первой половине XVI в.: Взгляд из Европы. М., 1997. С. 76—117, 144—202, 228—289.

²⁵ В одной из новейших монографий, посвящённой, правда, более позднему периоду, Т. Сарман отмечает как важное качество европейской культуры, обеспечившей ей, в конечном итоге, мировое влияние, «любопытность» — интерес к внешнему миру, которого были лишены неевропейские культуры (*Sarmant T.* 1715: *La France et le monde*. Paris, 2017. P. 471). В сущности, это и есть стремление к постижению нового ради прогресса, а не просто праздное любопытство.

²⁶ В данном случае я использую понятие «цивилизационный» в духе культурно-цивилизационного подхода П. Штомпки, понимавшего под «культурой» набор базовых социально упорядоченных систем значений, символов, ритуалов, кодов, существующих на уровне социального подсознания, а под «цивилизацией» — разделяемый обществом универсум объектов, технологий, знаний, верований, ценностей, норм, институтов, которые сознательно учитываются акторами и принимаются как инструменты в достижении целей (*Sztompka P.* *Cultural and Civilization Change: The Core of Post-communist Transition // Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe* / Ed. B. Grancelli. Berlin; N.Y., 1995. P. 235—247). В этом смысле Россия, принадлежа к культурному пространству Европы, в указанный период цивилизационно из него выпадала.

логическому «европейскому образцу», формировавшемуся как в сочинениях просвещённых авторов эпохи, так и в позднейшей «эволюционистской» историографии; насколько общими оставались и для Запада, и для Востока Европы проблемы в сфере общественных отношений и управления; насколько не исключительным выглядело в этом смысле и Русское государство²⁷. Тем не менее если предельно упростить, то Россия оставалась *периферийной европейской средневековой страной*, в то время как остальные европейские государства, включая даже не самые лидирующие, вроде Польско-Литовского, превращались в *державы современного типа*. Несомненно, что такая ситуация являлась для Русского государства геостратегическим вызовом. Для сохранения суверенитета, достижения собственных целей на международной арене, возможности выдержать конкурентную борьбу, подкрепить свои претензии на признание и, в конечном итоге, на лидирующее положение московские монархи и правящая, в первую очередь светская, элита были вынуждены предпринимать меры, направленные на преодоление указанного разрыва. На пути этого преодоления лежали как технологические, так и идеологические препятствия; их было невозможно обойти без существенных социальных и культурных новаций. Если перевести всё это в семиотическую плоскость, то России следовало научиться «говорить» на языке современных стран Европы, походить на них по основному ряду маркирующих признаков, принять их правила игры и научиться играть и выигрывать в рамках этих правил.

XVII столетие стало во многом поворотным в отношениях между Россией и остальной Европой. Катастрофа Смуты, чуть не обернувшаяся для страны утратой государственности, двояким образом отразилась на дальнейшем курсе развития страны. Стимулировав общественную активность, гражданская война и интервенция начала XVII в. одновременно привели к кризису представлений о Московском государстве как священном царстве, что способствовало распространению среди части общества пессимизма и эсхатологических настроений. Уроки Смутного времени, как кажется, обозначили альтернативу: «возрождение благочестивого Российского царства», то, что, пользуясь словами А.М. Панченко, можно было бы назвать программой «оцерковления жизни и оцерковления человека»²⁸, или более или менее осознанное и целенаправленное движение в сторону общеевропейской интеграции, которое вполне может быть описано понятием «модернизации» в форме вестернизации.

У первого варианта был шанс на реализацию, ведь на рубеже 1640—1650-х гг. «кружок ревнителей древнего благочестия» имел серьёзное влияние при дворе. Тем не менее это был тупиковый путь и мнимая альтернатива, обрекавшие страну на автаркию, чреватую новыми потрясениями и утратами. Если

²⁷ *Hartstfield J.* Freedom, Corruption and Government in Elizabethan England. L., 1973; *Kettering S.* Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth Century France. N.Y.; Oxford, 1986; *Peck L.* Court, Patronage and Corruption in Early Stuart England. Boston, 1990; *Henshall N.* The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European Monarchy. L.; N.Y., 1992; *Major J.* From Renaissance Monarchy to Absolute Monarchy: French Kings, Nobles and Estates. Baltimore; L., 1994; *Kivelson V.A.* Autocracy in the Provinces: the Muscovite Gentry and Political Culture in the Seventeenth century. Stanford, 1996; *Patterson C.* Urban Patronage in Early Modern England: Corporate Boroughs, the Landed Elite and the Crown, 1580—1640. Stanford, 1999; *Коллманн Н.Ш.* Соединённые чество: государство и общество в России раннего Нового времени. М., 2001; *Davies B.L.* State Power and Community in Early Modern Russia. The Case of Kozlov, 1635—1649. Basingstoke, Hants; N.Y., 2004.

²⁸ *Панченко А.М.* Русская культура в канун петровских реформ // *Панченко А.М.* О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 141—147.

бы он и мог реализоваться, то только в том фантастическом случае, если западные рубежи России проходили бы не по верховьям Волхова, Мсты и Угры, а много восточнее, к востоку от Волги, а ещё лучше — от Уральских гор. Тогда, гипотетически, Россия могла бы закрыться от Западного мира, подобно Цинскому Китаю, и до поры до времени строить внутри себя хоть «дольний Иерусалим», хоть царство пресвитера Иоанна. Но география оставалась такой, какой она была, и уже хотя бы в силу этого Россия всё более втягивалась в модерно-европейскую сферу влияния, где не было места слабым. Автаркия в этих условиях оказывалась условием и синонимом слабости: страна неизбежно оказалась бы жертвой соседей, например Речи Посполитой, без всякого шанса на равноправное существование внутри унии²⁹. По счастью, в верхах русского общества прагматические соображения взяли верх, и при всём несомненном благочестии царя Алексея Михайловича проект «ревнителей» (ни в форме идей Вонифатьева, ни тем более в форме теократических поползновений патриарха Никона) в конечном итоге не реализовался. В сложном переплетении объективных причин, личных пристрастий, амбиций и противоборства придворных группировок вектор дальнейшего развития стал определяться «умеренными западниками» — весьма разнородным кругом светских и духовных лиц, так или иначе близких двору, большинство из которых мы знаем по именам, но до сих пор плохо понимаем как гетерогенную систему.

Менялась и ситуация в Европе. Если вновь прибегнуть к неизбежному упрощению, её сложная «пересборка» закончилась Тридцатилетней войной — кровавым и оглушительным финальным аккордом Реформации. Имевшая все-европейский характер, эта война настолько поляризовала расстановку сил и настолько перенапрягла ресурсные возможности воюющих стран, что вынудила их искать дополнительные возможности за пределами традиционных альянсов. На рубеже 1620—1630-х гг. у Франции, ведущей державы антигабсбургской коалиции, возникла потребность в привлечении России в качестве прямой или косвенной силы, направленной против Империи и её союзников, в частности против Речи Посполитой³⁰. Пожалуй, впервые в истории раннего Нового времени этот посыл одной из ведущих европейских монархий нашёл отклик в Кремле, поскольку совпал со стремлением Москвы взять реванш в отношениях с западным соседом. Это обстоятельство вместе с появлением, пусть и на скромных ролях, в тексте Оснабрюкского договора имени великого князя Московского как одного из гарантов Вестфальского мира весьма примечательны в русле наших рассуждений. Россия постепенно стала вписываться в систему общеевропейской политики. Этому способствовало и дальнейшее развитие событий, когда с 1660-х гг., получив под свой контроль украинское Левобережье и область Войска Запорожского, Москва непосредственно столкнулась с Османской империей. Вовлечение России в европейские антиосманские союзы, безрезультатные в конце XV и в XVI в., стало реальностью ввиду общности интересов государств Юго-Восточной Европы, вынужденных противостоять

²⁹ Каким виделось место России в составе Речи Посполитой, прекрасно показывают проекты, имевшие распространение в Польше в канун и во время Смуты (*Флоря Б.Н.* Польшско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005. С. 56—57, 79—81).

³⁰ *Поршнев Б.Ф.* Тридцатилетняя война и вступление в неё Московского государства и Швеции. М., 1976.

экспансии Порты. Россия и Речь Посполитая как союзники по Священной лиге — кто мог это представить хотя бы полувеком ранее!

XVII в. заметно сблизил — не по духу, но по факту — Россию и Запад. И хотя оценки итогов русского XVII в. в специальной литературе весьма различны, успехи вестернизации (в строительстве вооружённых сил, в эволюции элитарной культуры (то, что ещё А.С. Лаппо-Данилевский связывал с влиянием латино-польской и малорусской схоластики), в экономической политике) не отрицаются никем. Гораздо сложнее обстоит дело с определением ситуации, сложившейся в России к исходу этого столетия, в контексте ближайшей исторической перспективы: эпохи петровских реформ. Широкий спектр научных оценок на этот счёт относительно недавно обстоятельно проанализировала О.Е. Кошелева³¹. Как соотносились перемены второй половины — конца XVII в. с петровскими преобразованиями? Являлись ли последние продолжением первых, и если да, то чем принципиально отличались? Или петровские действия прервали/сломали ход естественного развития страны, разрушили то сбалансированное и самодостаточное состояние Российского государства в угоду личным амбициям и превратному пониманию Петром неких подлинных национальных интересов? Так ли уж необходимы были реформы первой четверти XVIII в.? И если они были необходимы, то не слишком ли высокую цену заплатил народ за их реализацию? А может быть, без реформ такого рода страна бы просто не выжила, оказавшись в конце XVII столетия в ситуации системного кризиса? На все эти вопросы историки по сей день отвечают по-разному, и их ответы зависят ещё и от того, каким периодом — «предпетровским» или «петровским» — они занимаются в силу своих узкопрофессиональных интересов: их взаимное непонимание, отмеченное Е.В. Анисимовым³², похоже, не исчезло и сегодня. Совершить историографическую революцию в трактовке комплекса этих вопросов было бы самонадеянно, но кое-какими соображениями, которые, быть может, окажутся небесполезными, поделиться рискну.

Прежде всего, я считаю необходимым предельно «обнулить» аксиологическую составляющую анализа ситуации. Полностью отказаться от оценочности суждений едва ли возможно, но, думается, они не должны являться основным инструментом научного поиска. Воспринимая Петра и его деятельность через эмоционально окрашенный личностный подход, мы попадаем в безвыходную ловушку бинарности. В результате, какие бы новые обстоятельства истории петровских реформ ни открывали нам источники, для одних Пётр всегда будет оставаться «культурным героем», для других — средневековым деспотом; для одних — лжереформатором и разрушителем самобытности, для других — основателем всего, что составило славу России в последующие столетия. Вырваться из этой ловушки можно разными путями, и один из них, как представляется, продуктивный — это глубокое исследование конкретных действий монарха в реализации тех или иных планов и замыслов.

Такой подход позволит увидеть по меньшей мере две вещи. Во-первых, насколько планы и декларации царя соответствовали или не соответствовали осуществлявшимся практическим мерам. Такой подход, успешно применённый на рубеже XIX—XX вв. М.М. Богословским и П.Н. Милюковым при

³¹ Кошелева О. Современная отечественная историография России предпетровского времени: новые аспекты // *Quaestio Rossica*. 2018. Т. 6. № 1. С. 269—289.

³² Анисимов Е.В. Почему Пётр? Была ли альтернатива для России? // *Родина*. 2007. № 11. С. 2.

изучении административной и налогово-финансовой политики Петра и потом благополучно забытый на десятилетия, показал, между прочим, многие признаки континуальности (вопреки декларациям) в действии допетровских и петровских институтов и одновременно выявил промахи петровского администрирования и вскрыл их причины. Во-вторых, наверное, следует иначе понимать саму технологию власти раннего Нового времени, обстоятельства и методы принятия и реализации решений. При всём колоссальном объёме личной власти Пётр осуществлял управление не в одиночку, и его идеи вызревали и оформлялись в том числе под влиянием массы внешних обстоятельств, зачастую — случайных. Его напряжённая интеллектуальная работа протекала во взаимодействии с идеями, предложениями и советами довольно широкого круга лиц самых разных статусов. Никогда раньше, а может быть и позже, мы не найдём примеров такого тесного и неформального общения русского государя с подданными. Уникальная система коммуникаций, сложившаяся вокруг Петра, в которой большую роль играли в том числе разнообразные застолья вне официального церемониала, ещё ждёт своих исследователей. Едва ли кто-то возьмётся отрицать, что царь был инициатором многих идей, но они возникали и трансформировались под воздействием и влиянием многих привходящих, носителями которых являлись разные люди, умевшие, возможно, «предугадывать» направление мыслей Петра, но и преследовавшие свои цели. Всё это и создавало тот результат, который по инерции мы склонны приписывать исключительно монаршей воле. Следуя такому взгляду на петровские реформы, И.И. Федюкин, например, предлагает изучать историю возникновения новых институций петровского царствования не как результат «некой безличной волны “европеизации”», а как продукт индивидуального и множественного административного предпринимательства, прожектёрства. Применив этот подход к осмыслению феномена школьных реформ, историк, на мой взгляд, доказал его продуктивность и перспективность для исследования петровского реформирования вообще³³.

Серьёзной историографической проблемой при осмыслении характера петровских реформ остаётся вопрос о их соотнесённости с преобразованиями, осуществлёнными его ближайшими предшественниками, царями Алексеем Михайловичем и Фёдором Алексеевичем, и их окружением. Сейчас мало кто возьмётся отрицать взаимосвязь между событиями второй половины XVII и первой четверти XVIII в., но степень этой взаимосвязи оценивается по-разному. Одна из таких распространённых оценок сводится к тому, что реформы петровских предшественников могли привести Россию к тому же результату: превратить её в модерное европейское государство, но ценой несравнимо меньших издержек и жертв. Подобный подход выглядит привлекательным в том числе и потому, что ставит вопрос об альтернативности исторического процесса, отрицая жёстко детерминированные объяснительные модели. В самом деле, весь процесс исторического развития — это череда альтернатив. Жёсткой предопределённости не существует, если не занимать позиции принципиального провиденциалиста; и перед каждым индивидом, и перед общественными группами разных масштабов, и перед государствами всегда встаёт возможность выбора при принятии тех или иных решений. Но что нам даёт само по себе это пони-

³³ Федюкин И.И. Прожектёры: политика школьных реформ в России в первой половине XVIII в. М., 2020.

мание при анализе конкретной исторической ситуации кроме фиксации факта «исторической развилки»? Как сложились бы обстоятельства, проживи Фёдор Алексеевич дольше? Были бы его реформы продолжены в том умеренном ключе, в каком они начались? Или под влиянием каких-то факторов их темп мог ускориться или, наоборот, замедлиться? Допуская изменение одного обстоятельства, мы запускаем неподдающуюся учёту цепь других допущений, что неизбежно приводит к превращению исторической альтернативистики (если таковая вообще существует) в альтернативную историю как жанр фантастики. А.Б. Каменский в своё время попытался создать модель развития России без петровских реформ на основе параллелей с историческим развитием (осуществившимся, а не «альтернативным») современной и соседней с ней Турции. Модель оказалась для России неутешительная³⁴.

Определённой развилкой в истории страны в начале XVIII в., а значит, и в характере динамики реформ, выглядит вступление России в Северную войну. Её влияние на дальнейший ход преобразований несомненно. Бросив вызов одной из сильнейших держав своего времени, русский царь настолько осложнил положение России, что прежний, «мягкий и щадящий» вариант «европеизации» (пользуясь словами Д.М. Володихина³⁵) оказался просто невозможен. Выйти победителем из этой войны без реализации масштабного, на грани возможного, мобилизационного проекта, потребовавшего не просто колоссального напряжения сил, но и поиска новых методов организации управления и экономики, было нельзя. Но так ли нужна была эта война? Геополитическая ситуация рубежа XVII—XVIII вв., на мой взгляд, такого поворота не требовала. Швеция не представляла угрозы существованию России, в то время как южное, антиосманское направление внешней политики страны выглядело гораздо более мотивированным, а успехи, достигнутые в результате так называемых Азовских походов и закреплённые Первым Константинопольским договором 1700 г., можно было развивать. Я очень скептически отношусь к идее об исходном, непреодолимом стремлении Петра к овладению Балтикой. Да, действительно, интерес к расширению влияния в регионе у русской политической элиты существовал достаточно давно (оставляю за скобками мотивы этого интереса), актуализируясь время от времени как одно из направлений внешней политики. Но в ситуации 1690-х гг. оно не выглядело фатально неизбежным, и участие России в первом Северном союзе похоже скорее на случайность, обусловленную стечением обстоятельств³⁶. Не поддайся царь соблазну быстрой победы над

³⁴ Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII в. (опыт целостного анализа). М., 2001. С. 148—154.

³⁵ Володихин Д.М. Царь Фёдор Алексеевич, или Бедный отрок. М., 2013. С. 10.

³⁶ И это не единственная случайность, которая приводила Петра к действиям, которые изначально им не планировались. Ещё одним примером цепи ситуативных решений, закончившейся визитом в Париж в 1717 г., является, на мой взгляд, так называемое Второе европейское путешествие Петра I. Едва ли, отправляясь «по семейным делам в Данциг» (*Вагеманс Э.* Пётр Великий в Бельгии. СПб., 2007. С. 18) в начале 1716 г., и даже позже, когда в июле того же года он появился в Копенгагене для подготовки союзного десанта в Сконе, царь предполагал, что в мае следующего года будет общаться с герцогом Орлеанским и осматривать фабрику гобеленов в Париже. Во всяком случае, для его ближайших соратников и спутников, вроде П.П. Шафирова или П.А. Толстого, едва ли не каждый день, проведённый с царём, представлял загадку относительно дальнейшего маршрута. Об этом свидетельствуют их письма кн. А.Д. Меншикову, часть из которых нами опубликована (*Редин Д.А., Серов Д.О.* Второе путешествие Петра Первого в Европу в письмах

шведами и останься он в рамках традиционной внешнеполитической повестки, и, возможно, его реформы не стали бы столь радикальны.

Но случилось то, что случилось. Пётр действовал в конкретных обстоятельствах места и времени и действовал так, как мог действовать только он, в том числе и из-за особенностей своего характера³⁷. Основные направления его реформаторской деятельности продолжали и развивали тренды, вполне проявившие себя и ранее, — всё это слишком хорошо известно, чтобы повторять подробно. Это, между прочим, снимает вопрос о том, нужны ли были реформы вообще — они уже шли. Но темп, широта и глубина этих реформ стали иными, чем на предыдущем этапе, благодаря Северной войне, которая выступила в роли мощного катализатора преобразований. Все петровские реформы — такие, какими мы их знаем, оказались, таким образом, либо непосредственно, либо косвенно обусловлены войной. Оценку их результативности едва ли правильно давать исключительно в хронологии петровского царствования. Их значение раскрывается в более длительной исторической перспективе, как минимум, в перспективе всего XVIII столетия (на что едва ли не первым справедливо обратил внимание А.Б. Каменский³⁸), а может быть, и в более длительном диапазоне. Но в контексте настоящей статьи важнее другое. Как к ним ни относиться, общим итогом реформ первой четверти XVIII в. стало превращение России *в европейскую державу современного типа*; они устранили наиболее вопиющие признаки несходства между Россией и остальными государствами Европы. Россия стала «узнаваемой» в системе современных координат, по крайней мере по четырём направлениям.

Просвещение. Одним из основных рефренов сочинений иностранцев о допетровской России был тезис о её *непросвещённости*. Как свидетельствуют тексты, непросвещённость понималась двояко: как в конкретном смысле — полном отсутствии каких-либо образовательных институций, хотя бы отдалённо напоминавших коллегииумы и университеты остальных стран Европы, так и в концептуальном — полном невежестве русского населения, включая светские и духовные элиты (за единичными исключениями), отсутствии всякого стремления к обучению и наукам и, как следствие, варварском характере народа со всеми вытекающими отсюда характеристиками: грубостью нравов, жестокостью властей, раболепием подданных, хитростью, лживостью, враждебностью к новизне. Первое являлось фактом, второе — обусловленным разными мотивами негативным стереотипом. «Просвещённость» самих европейских народов имела ограниченный характер и варьировала в зависимости от социального статуса, места проживания, региональной ситуации; во всяком случае, уровень просвещённости, скажем, кастильского или фламандского крестьянства едва ли был принципиально выше, чем у их собратьев в замосковных уездах, равно сомнительно и то, что парижские или венские обыватели сплошь засыпали с

барона П.П. Шафирова князю А.Д. Меншикову (1716—1717) // *Quaestio Rossica*. 2017. Т. 5. № 2. С. 471—502).

³⁷ Пожалуй, в данном случае я готов согласиться с О.Н. Мухиным, заметившим, что, исходя из анализа некоторых сторон личности Петра, «он сам не был способен на другой темп преобразований, что было следствием как его психологических особенностей, так и... окружавшей его социально-политической и культурной действительности» (*Мухин О.Н. Пётр I: личность и эпоха в поисках идентичности // Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы*. Томск, 2002. С. 114—115).

³⁸ *Каменский А.Б.* От Петра I до Павла I...

томиком Аристотеля под подушкой. Тем не менее наличие сети образовательных учреждений и их способность к эволюции являлись не только важным конкурентным преимуществом и инструментом социокультурного развития в целом, но и ярким маркером «европейскости». С скромными результатами школьного строительства в России XVII в. и весьма пассивная роль светских и церковных властей в этом процессе³⁹ резко контрастируют с возникновением и развитием учебных заведений в петровскую эпоху. И дело не только в том, что таковых стало несопоставимо больше, а линейка преподаваемых в них дисциплин оказалась несравнимо шире, а в том, что, распространяясь даже за пределы столиц⁴⁰, они организовывались совершенно на иных основаниях по сравнению с предыдущим периодом. Петровское просвещение решительно повернуло от латино-польской схоластики как модели организации образования⁴¹ к более актуальной, западноевропейской нововременной системе, ориентированной как на развитие естественно-научного и прикладного знания, так и на поощрение академических штудий. «Возникновение и развитие новых форм образования... составляло один из важнейших этапов российской модернизации в XVIII веке», а «новые культурные навыки, поведенческие нормы и модели социальных отношений» распространялись «во многом именно через образовательные каналы»⁴². Заданное Петром направление создало основы формирования в России научного знания как такового, что проявилось и в деятельности Академии наук, и в работе первых научных экспедиций⁴³, и в первых опытах организации музейного дела.

Требуется ли доказательств то, что всё это стало фундаментом дальнейших успехов русской науки и культуры, вплоть до их мирового взлёта XIX — начала XX в.? Но просвещение как образовательная практика формировала в России Просвещение как образ жизни. Изменившийся круг чтения образованных людей, позволивший посредством современной им западной светской литературы «усвоить весь набор основных элементов европейских наук и искусств»⁴⁴,

³⁹ Федюкин И.И. Проектирование: политика школьных реформ... С. 65—76.

⁴⁰ Сафронова А.М. Первые школы Екатеринбурга (1724—1734): К 275-летию основания. Екатеринбург, 2000.

⁴¹ Это вовсе не означает, что латинско-польская и малороссийская схоластика полностью утратила в петровскую эпоху свою актуальность. Её востребованность, в том числе и после смерти Петра I, реализовывалась в церковной проповеди как политическом жанре (*Erren L. Feofan Prokopovich's Pravda voli monarshei as Fundamental Law of the Russian Empire* // *Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History*. 2016. № 2. Р. 333—360; *Бугров К.Д., Киселёв М.А.* Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую политическую культуру XVIII века. Екатеринбург, 2016. С. 57—120; *Бугров К.Д.* «Политическое богословие» елизаветинской эры: легитимация власти Елизаветы Петровны в придворной проповеди 1740-х — 1750-х гг. // *Вестник Томского государственного университета*. 2018. № 436. С. 131—138), так и в организации учебного процесса в системе церковного образования (*Кислова Е.И.* Латынь и «словенский» в начальном образовании детей духовенства XVIII в. // *Studia Slavica*. 2015. Vol. 60(2). С. 315—330; *Кислова Е.И.* Польский язык в российских семинариях XVIII в.: из истории культурно-языковых контактов // *Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология*. 2015. № 3. С. 155—170).

⁴² «Регулярная академия учреждена будет...»: Образовательные проекты в России в первой половине XVIII века. М., 2015. С. 8.

⁴³ *Новлянская М.Г.* Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири. Л., 1970; *Лебедев Д.М., Есаков В.А.* Русские географические открытия и исследования. М., 1971; *Петров А., Ермолаев А., Коскина М.* Пётр I и рост интереса России к освоению Тихого океана, 1711—1722 // *Quaestio Rossica*. 2021. Т. 9. № 1. С. 265—280.

⁴⁴ *Бугров К.Д., Киселёв М.А.* Естественное право и добродетель... С. 122.

включавших античное наследие (как переосмысленное ренессансными авторами, так и непосредственное, через позднейшие переводы), привёл к тому, что для России XVIII в. стал одновременно и веком Ренессанса, и веком Просвещения. Понимание важности периодической печати (учреждение «Санкт-Петербургских ведомостей»), «дидактической» необходимости прямого обращения к народу (хотя бы через преамбулы указов и регламентов и политические церковные проповеди) формировали публичное коммуникационное пространство внутри страны. Такого рода перемены имели и краткосрочный эффект. Они оказались настолько заметны современникам⁴⁵, что немедленно породили миф о чудесном превращении варварской Московии в цивилизованную страну — конечно, благодаря гению её царя. Этот миф стал одним из важнейших факторов формирования доброжелательного стереотипа о России и одним из каналов прямого и широкого диалога с учёными и политиками стран Запада.

Секуляризация. Нельзя не согласиться с П. Вертом, заметившим, что модерность в известной степени связана с принципами секуляризма⁴⁶. Я бы усилил это наблюдение: не в известной, а в значительной. Политическое влияние церковных властей создавало почти непреодолимую преграду для культурного и политического общения России и остального европейского мира. Это стало особенно очевидным во второй половине XVII в., в контексте борьбы «восточников» и «западников», в условиях осознания светской властью потребностей технологического и кадрового импорта. Решительно лишив Церковь политического влияния и интегрировав её потенциал в русло светской государственной политики, Пётр, по сути, достиг (и с наименьшими издержками) того, что страны остальной Европы смогли достичь в результате длительного процесса Реформации и религиозных войн. Решив неразрешимую задачу заключения династических союзов с правящими католическими и протестантскими домами (причём на условиях принятия православия инославными супругами русских наследников и сохранения православия русскими принцессами, выдаваемыми замуж за границу), царь получил дополнительный ресурс укрепления международных позиций страны. Широко гарантированная европейским выходцам свобода исповедания, впервые законодательно провозглашённая указом 1702 г.⁴⁷ и зримо подкреплённая сохранением конфессиональных и политических прав немецкому населению отвоёванной у Швеции Остзее, не только позволила приобрести значительный контингент квалифицированных военных и технических специалистов, учёных, архитекторов, художников и администраторов, но и стала лучшим опровержением распространяемых мифов о варварской и чуждой «цивилизованному» миру России. Избавление от представлений о том, что всякое «латинское учение» ведёт православного к ереси и гибели

⁴⁵ В том числе благодаря активной работе русских литературных агентов в западном медийном пространстве. См., например: *Blome A.* Das deutsche Rußlandbild im frühen 18. Jahrhundert: Untersuchungen zur zeitgenössischen Presseberichterstattung über Rußland unter Peter I // *Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte* (Bd. 57). Wiesbaden, 2000; *Europäische Wahrnehmungen 1650—1850. Interkulturelle Kommunikation und Medienereignisse* / Hg. J. Eibach, H. Carl. Hannover, 2008; *Bowers K., Franklin S.* Information and Empire: Mechanisms of Communication in Russia, 1600—1850. Cambridge, 2017; *Kemper D.* The Beginnings of Foreign Cultural Politics in Russia. H. 2. Heinrich von Huyssen as a Manager of Foreign Cultural Policy in the Great Nordic War // *Новый филологический вестник*. 2019. № 1(48). С. 70—81.

⁴⁶ *Werth P.* Religions Freedom as a Marker of Modernity: The Imperial Bequest // *State, Religion and Church*. 2015. № 1. Vol. 2. P. 8.

⁴⁷ ПСЗ-I. Т. 4. № 1910.

стимулировало встречный поток: невиданную ранее по масштабам практику обучения русских за границей, имевшую продолжение и укрепление в длительной исторической перспективе. Независимо от наших сегодняшних оценок, секуляризация и вызванные ею последствия также являлись действенным инструментом превращения России в государство современного типа и маркером русской причастности к современной Европе.

Вооружённые силы. Реорганизация вооружённых сил стала одним из самых зримых и бесспорных достижений Петра. Строго говоря, именно военной реформе были подчинены вся государственная машина и экономический потенциал страны. Речь шла не только о качественном преобразовании сухопутной армии, но и о создании новых родов войск (инженерные войска) и видов вооружённых сил (военно-морского флота) — задачи невероятной сложности. Петровские войска стали школой администрирования, отработки техники нормативно-законодательного творчества и административного делопроизводства, *действующей моделью идеальной общественной организации*, устроенной в соответствии с идеями «регулярства» и служения «общественному благу»⁴⁸. Управленческие новации, опробованные в войсках, применялись в сфере гражданского регулирования. Это касалось и первых опытов по организации специализированного управления в фискально-финансовой сфере (институт комиссаров и провиантмейстеров — особых чиновников по денежным и продовольственным сборам и снабжению, учреждённый в армии и активно использовавшийся в гражданских учреждениях), и распространения норм Устава воинского в сферу общего судопроизводства⁴⁹, и широкого привлечения действующих и отставных офицеров как наиболее подготовленных, приученных к «регулярству» управленцев на руководящих должностях госаппарата и судебно-следственных органов. Разумеется, что боеспособность петровских армии и флота являлись веским аргументом в продвижении интересов России на дипломатическом поприще и в создании международных коалиций. Военные успехи послепоплавского периода Северной войны формировали в западной стратегии Петра план использования ресурсов европейских государств второго плана — сближение с ними, выстраивание сепаратных союзов регионального масштаба. Большие возможности царь видел в северогерманских княжествах и городах. В свою очередь, некоторые из них (Мекленбург-Шверин, Шлезвиг-Гольштейн) были готовы признать в России гаранта своей территориальной целостности от посягательств датчан, шведов или пруссаков. Таким образом Россия всё больше вписывалась в общий контекст европейских альянсов, в том числе и таких, которые церемониально и юридически закрепляли значимое место страны в иерархии европейских держав на основе Утрехтского договора⁵⁰.

Управление. Реформы государственного управления, произошедшие при Петре I, считаются едва ли не самыми знаковыми и наиболее решительно порывающими с прежним «московским» администрированием. Тем не менее ещё

⁴⁸ На то, что армия служила для Петра моделью построения гражданской системы управления, указывали Е.В. Анисимов и Л. Хьюз (*Анисимов Е.В. Пётр Великий. Личность и реформы.* СПб., 2009. С. 133; *Hughes L. Russia in the Age of Peter the Great.* New Haven; L., 1998. P. 77—78).

⁴⁹ Законодательные акты Петра I. Редакции и проекты законов, заметки, доклады, доношения, челобития и иностранные источники / Сост. Н.А. Воскресенский. Т. I. Акты о высших государственных установлениях. М.; Л., 1945. № 38.

⁵⁰ *Nathan I. Le traité d'Amsterdam (1717), d'après les Archives diplomatiques françaises // Quaestio Rossica.* 2018. Т. 6. № 3. С. 675—684.

дореволюционные российские историки и историки права отмечали очень тесную связь петровского административно-территориального деления и управления с дореформенными аналогами. Не имея возможности изложить, даже вкратце, весь спектр историографических оценок на этот счёт, отмечу, что такая связь несомненно была, а её влияние на характер управления ощущалось вплоть до начала «больших» реформ 1719—1724 гг. Старт преобразований в административной сфере хронологически очень размыт. Если в высшем звене управления какие-то изменения можно связывать с началом деятельности «Консилия министров» в Ближней канцелярии⁵¹, то на местном уровне заметным, хотя и локальным, событием стало создание Ингерманландской губ. в 1702 г.

Никаких целостных взглядов на реорганизацию системы управления у Петра не было. Всецело поглощённый неудачно начатой войной, он требовал от государственного аппарата только одного: интенсивного поиска материальных ресурсов и их эффективного распределения на военные нужды. В этом отношении и «Консилия министров», и аппарат Ингерманландской губ., выведенный из ведения приказов в самостоятельную структуру, подчинённую через губернатора А.Д. Меншикова непосредственно царю, занимались по преимуществу финансовыми и военными делами, причём основной задачей этой единственной на тот момент губернии стало прямое обеспечение войск, действовавших на её территории⁵². В дальнейшем, вероятно, царь счёл такой опыт заслуживающим внимания, вознамерившись распространить его на всю страну.

Смысл первых губерний, созданных по аналогии с Ингерманландской, сводился исключительно к содержанию «приписанных» к ним полков полевой армии. Традиционно начало первой губернской реформы связывают с указом 1708 г. о «расписании городов по губерниям». В действительности губернский аппарат начал более или менее функционировать с 1711 г., когда произошли изменения и в высшем управлении, — был создан Правительствующий Сенат. Последний через институт губернских комиссаров и через ряд созданных подчинённых учреждений (прежде всего Кригс-комиссариат) также должен был заниматься вопросами сбора средств и снабжением войск⁵³. В целом, в течение 1700—1710-х гг. система управления мало отличалась от прежней, приказно-воеводской. Это проявлялось не только в том, что продолжали существовать старые приказы, но и в том, что создаваемые новые учреждения — разнообразные канцелярии, конторы, чрезвычайные хозяйственные, контрольно-надзорные и следственные органы — функционировали как личные поручения, нацеленные на решение ситуативных задач. Они, конечно, так или иначе, в режиме «ручного управления», решали текущие задачи, но как система работали плохо.

⁵¹ Указа о создании этого органа не существовало. Е.В. Анисимов относит начало «некой устойчивой правительственной структуры — Боярской комиссии» как постоянно действующего совета, к 1701—1704 гг., отмечая крайнюю скудость информации о её составе до 1707—1708 гг. (Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого. СПб., 1997. С. 22—28).

⁵² Анисимов Е.В. Государственные преобразования... С. 28; Редин Д.А. Ингерманландский эксперимент: к предыстории губернской реформы Петра Великого // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 4(202). С. 139—160.

⁵³ Это ясно следует как из текста указа Сенату от 2 марта 1711 г., в котором из 10 пунктов, определяющих его задачи, 9 посвящены вопросам экономии средств, поиска источников казённых доходов и контролю за исполнением бюджетной дисциплины (ПСЗ-И. Т. 4. № 2330), так и из самой практики деятельности Сената вплоть до реформы 1718 г.

От прежних учреждений они отличались, пожалуй, только обилием заимствованной иностранной административной лексики, возросшим документооборотом и явно выраженной фискальной специализацией.

Есть все основания считать, что гражданское управление в замыслах и действиях Петра в эти годы имело вспомогательный характер по отношению к реформе вооружённых сил. Похоже, что царь и не ставил своей целью реформирование системы управления, тем более в соответствии с некими передовыми западными образцами, если понимать под реформой осознанное и более или менее ясно декларируемое *стремление к прогрессивным новациям*⁵⁴. Лишь приблизительно с 1715 г. у Петра сформировался взгляд на государство *как правильно организованную систему* со специализированным и унифицированным управлением, рациональным ведением хозяйства и столь же рационально организованным обществом. Сам он объявил о намерении привести в доброе состояние «земское управление» лишь в декабре 1718 г.⁵⁵ С этого времени возможно говорить и о каких-то подлинных новациях в данной сфере, прежде всего в области концептуальной проработки взглядов на вопросы организации власти и общества, основанных на принципах европейского камерализма и обобщения практического опыта государственного строительства западноевропейских стран.

Разумеется, на практике далеко не все созданные в последние годы петровские институты соответствовали нормам, заложенным в их уставах и регламентах. Более или менее оправданной оказалась коллежская система, просуществовавшая до начала XIX в. Совершенно непригодным показал себя местный аппарат, редуцированный в первые годы после смерти императора его преемниками, посчитавшими за благо восстановить воеводское управление. Но административные реформы Петра, нацеленные на построение государства всеобщего блага, при всей их концептуальной иллюзорности, определили перспективу государственного строительства и интегрировали вокруг неё российские элиты на доброе столетие. Одновременно вестернизированный (структурно, концептуально и вербально) государственный аппарат также стал своеобразным маркером новой «европейскости» России.

Произошедшие за время правления Петра I перемены можно оценивать по-разному. Но их знаковый характер бесспорен. Участие в Северной войне стало стимулом для интенсификации тех устремлений «возвращения в Европу», которые были свойственны русской политической элите задолго до Петра. Победа в этой войне оказалась, таким образом, больше чем просто военная победа, и она стала возможной не только благодаря пушкам. Если политика — это искусство возможного, то Пётр показал, что владел этим искусством. Сам переход на общий с европейцами язык имел глубокое значение и далеко идущие последствия. Отныне имперский статус России и её монарха подтверждался не декларируемым превосходством православия над иными христианскими конфессиями и не её огромными пространствами, в рамках которых проживают многочисленные и разноплеменные народы, объединённые властью самодержца, а чем-то иным. Пытаясь определить содержание этой новой мотивации,

⁵⁴ Кром М.М., Пименова Л.А. Феномен реформ в Европе Раннего Нового времени (вместо предисловия) // Феномен реформ на Западе и Востоке Европы в начале Нового времени (XVI—XVIII вв.). СПб., 2013. С. 7—16.

⁵⁵ Законодательные акты Петра I... Т. I. № 40.

Р. Вульпиус справедливо обращает внимание на главный мотив, подвигнувший окружение Петра на «поднесение» ему титула императора и именования Великого и Отца Отечества, озвученный всё тем же канцлером Головкиным: царь своими «неусыпными трудами и руководством» ввёл своих подданных «во общество политических народов», вывел «из небытия в бытие»⁵⁶. Развивая свою аргументацию в духе «истории понятий», немецкая исследовательница убедительно показала, что в данном случае речь шла о вхождении России в круг «универсальной» (европейской) цивилизации, что потенциально открывало перспективу цивилизаторской миссии России по отношению к «диким», «нецивилизованным» народам, к формированию имперского сознания и имперского поведения на основе прогрессистско-рациональных представлений.

⁵⁶ Вульпиус Р. К семантике империи в России XVIII века: понятийное поле цивилизации // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода. Т. II. М., 2012. С. 56. Выказанные в этой статье идеи развиты и усилены автором в монографии: *Vulpius R. Die Geburt des Russländischen Imperiums. Herrschaftskonzepte und -praktiken im 18. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte Osteuropas. Köln, 2020.*